



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.  
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

**ЖУРНАЛЪ**  
**МИНИСТЕРСТВА**  
**НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.**

---

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ.

ЧАСТЬ СССХХХІХ.

---

1902.

**ЯНВАРЬ.**



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

1902.

# СОДЕРЖАНІЕ.

## ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

I. Именные Высочайшіе указы . . . . .	3
II. Высочайшія награды . . . . .	—
III. Высочайшіе приказы . . . . .	15
IV. Приказы министра народнаго просвѣщенія . . . . .	18
V. Распоряженіе, объявленное правительствующему сенату министромъ финансовъ . . . . .	24
VI. Министерскія распоряженія . . . . .	34
VII. Отъ пенсіонной кассы народныхъ учителей . . . . .	54
VIII. Опредѣленія ученаго комитета мин. нар. пр. . . . .	56
IX. Опредѣленія особаго отдѣла ученаго комитета мин. нар. пр. . . . .	61
X. Опредѣленія отдѣленія ученаго комитета мин. нар. пр. по техническому и профессиональному образованію . . . . .	74
Открытіе и преобразование училищъ . . . . .	75
Преміи Августѣйшаго Имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры Теодоровны . . . . .	78
Н. П. Павловъ-Сильванскій. Феодальныя отношенія въ удѣльной Русіи (окончаніе) . . . . .	1
С. К. Шамбинаго. Старинныя о Святогорѣ и поэма о Балезинъ-поэгѣ . . . . .	49
Е. В. Ивтуховъ. Состояніе и дѣятельность Дерптскаго университета въ первый періодъ его существованія (окончаніе) . . . . .	74
В. П. Модестовъ. В. Гр. Васильевскій . . . . .	134

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Н. Д. Чечулинъ. В. М. Грибовскій. Высшій судъ и надзоръ въ Россіи въ первую половину царствованія Императрицы Екатерины Второй. С.-Пб. 1901 . . . . .	169
П. А. Лавровъ. Хостникъ, М. 1) Словнико-русскій словарь. С.-Пб. 2) Грамматика словническаго языка. Горница. 1900 . . . . .	182
Ф. Ф. Соколовъ. Александръ Никитскій. Исслѣдованія въ области греческихъ надписей. Юрьевъ. 1901 . . . . .	187
П. А. Ивановскій. О неофициальномъ изданіи свода Законовъ Россійской Имперіи. Подъ редакціей А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филтнова. С.-Пб. 1900 . . . . .	191
Н. П. С. Г. Вилинскій. Сказаніе черпоризца Храбра о письменныхъ славянскихъ. Одесса. 1901 . . . . .	193
А. П. Мечасевъ. Отвѣтъ г. проф. А. И. Введенскому . . . . .	203
— Книжныя новости . . . . .	228

См. 3-ю стр. обложки.

---

## В. ГР. ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

(Время высшего образования и приготовления къ кафедрѣ).

Берусь за перо, чтобъ исполнить долгъ друга по отношенію къ человѣку, память о которомъ не должна исчезнуть такъ скоро, какъ вообще среди русскихъ людей исчезаетъ память о выдающихся дѣятеляхъ нашего отечества.

Прошло уже больше двухъ съ половиной лѣтъ, какъ я проводилъ до могилы и почтительно надгробнымъ словомъ готовое уже опуститься въ нее бездыханное тѣло Василья Григорьевича. Но событіе это остается передо мною такъ живо, какъ бы оно произошло вчера. То были тяжелыя минуты. Лежалъ въ гробу человѣкъ, который на родинѣ былъ окружаемъ видными людьми науки, признательными или воспользовавшимися его общественнымъ положеніемъ учениками, нерѣдко даже и ученицами, и который тутъ на чужбинѣ, хотя и подъ голубымъ небомъ, среди лавровъ и кипарисовъ, казался какъ бы покинутымъ всѣмъ міромъ. Не нашлось и десяти человѣкъ изъ всей немалочисленной русской колоніи Флоренціи, считая въ томъ числѣ духовенство и семью покойнаго, которые были свидѣтелями этой печальной сцены и слышали мои прощальныя слова, раздавшіяся на русскомъ языкѣ въ необычномъ мѣстѣ. Тамъ, на далеской родинѣ, разосланныя мною телеграммы вызвали, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ слояхъ причастнаго къ ученому и учебному міру общества, взрывъ состраданія къ такъ неумолимо сраженному преждевременною смертію русскому ученому очень крупнаго калибра; здѣсь, въ мѣстѣ его кончины, смерть эта прошла совершенно незамѣченною не только среди мѣстныхъ жителей, но и въ средѣ, какъ я сказалъ, не мало-

численныхъ соотечественниковъ. Видѣть это, чувствовать, сознавать было больно и прискорбно.

Но еще прискорбнѣе было мнѣ читать въ Римѣ въ письмахъ изъ Петербурга о томъ, что на панихидахъ, устроенныхъ семьей Василья Григорьевича въ полугодовой и затѣмъ въ годовой день его кончины, почитатели памяти покойнаго блистали уже почти полнымъ отсутствіемъ. Куда же дѣвались эти многочисленные его коллеги въ тѣхъ немалочисленныхъ учрежденіяхъ, въ которыхъ онъ считался однимъ изъ видныхъ дѣятелей? Гдѣ были въ это время его многочисленные ученики и ученицы, съ которыми онъ всегда такъ ласково и участливо къ ихъ нуждамъ бесѣдовалъ? Если судить по этимъ фактамъ вниманія къ памяти недавно умершаго дѣятеля, то тѣ широкія и сильныя симпатіи къ нему, о которыхъ говорятъ въ своихъ статьяхъ, посвященныхъ памяти покойнаго, его ученики, нужно было бы считать больше воображаемыми, чѣмъ дѣйствительными. Все мы знаемъ, какъ шумно русская молодежь чтитъ иногда память общественныхъ дѣятелей, отвѣчающихъ ея стремленіямъ. Но съ другой стороны мы знаемъ и то, что въ сознаніи русскаго общества, не знающаго истинной общественной, наименѣе оставляетъ слѣдовъ память дѣятелей, которымъ подобаетъ не шумное чествованіе, а глубокое уваженіе, какъ людямъ, которые своимъ сильнымъ умомъ, строгимъ знаніемъ и неусыннымъ трудомъ создаютъ прочныя опоры для дальнѣйшаго развитія своего отечества. Работая весь свой вѣкъ не для того, чтобы производить минутные эффекты, а въ силу внутренней потребности въ трудѣ упорномъ и честномъ, которымъ именно и создается благо общественное, они не находятъ и при жизни удовольствія въ шумныхъ оваціяхъ и даже избѣгаютъ ихъ, когда таковыя для нихъ готовятся, но за то тѣмъ болѣе заслуживаютъ вниманія къ своей памяти по смерти, особенно со стороны тѣхъ, кто или ближайшимъ образомъ пользовался плодами ихъ дѣятельности или понималъ ея великое значеніе. А если это вниманіе не проявляется даже при наиболѣе подходящихъ для этого случаяхъ, то это хотя, быть можетъ, и не служитъ несомнѣннымъ свидѣтельствомъ чересчуръ быстро забвенія заслугъ усопшаго дѣятеля, во всякомъ случаѣ говоритъ о нашей чорствости и эгоизмѣ и, въ то же время, очень не высокомъ уровнѣ нашей общественной.

Считая своимъ долгомъ освѣжить память о В. Гр. Васильевскомъ, начинающую исчезать даже среди многихъ изъ тѣхъ, съ которыми связывало его не одно десятилѣтіе общей дѣятельности, я не буду

говорить о немъ ни какъ объ ученомъ, профессорѣ и академикѣ, ни какъ объ общественномъ дѣятелѣ вообще. Въ первомъ отношеніи онъ уже оцѣненъ болѣе или менѣе по заслугамъ его бывшими учениками, во второмъ я имѣю особыя причины не брать на себя роли оцѣнщика. Я хочу говорить о немъ не какъ о дѣятелѣ, уже выступившемъ на сцену и обрисовавшемся въ своемъ характерѣ, а какъ о лицѣ, еще готовящемся къ дѣятельности. Поступаю я такъ не только потому, что этотъ періодъ жизни моего покойнаго друга наименѣе извѣстенъ и еще не получилъ своей характеристики въ воспоминаніяхъ о немъ, но и потому, что для изображенія его я обладаю наиболѣе обильнымъ матеріаломъ. Матеріаль же этотъ заключается не только въ моихъ личныхъ воспоминаніяхъ, но и въ массѣ писемъ, сохранившихся у меня отъ этого періода. Писемъ этихъ очень много. Начинаются они съ ноября 1860 года, когда я отправился на службу въ Петрозаводскую гимназію. Эти, направлявшіяся ко мнѣ въ Петрозаводскъ, письма превосходно обрисовываютъ мысли, заботы, стремленія, занятія моего корреспондента въ первый годъ его по выходѣ изъ университета. Новая серія писемъ обнимаетъ собой двухгодичный періодъ нашей заграничной жизни, когда мы, командированные за границу для приготовления къ занятію профессорскихъ кафедръ, жили въ разныхъ городахъ Европы и находились другъ съ другомъ въ постоянной перепискѣ. Этотъ періодъ оставилъ по себѣ едва ли не самую большую долю писемъ въ сравненіи со всѣми другими періодами. Третью серію составляютъ письма, писанныя мнѣ въ Одессу, куда я, по полученіи степени магистра, уѣхалъ доцентомъ въ новооткрытый университетъ, а Васильевскій оставался въ Петербургѣ, готовясь къ магистерскому экзамену и занимаясь магистерскою диссертациею. Эти три серіи писемъ покойнаго друга и обнимаютъ время приготовленія его къ общественной дѣятельности, которымъ я намѣренъ здѣсь ограничиться. Но для будущихъ біографовъ Василья Григорьевича считаю не лишнимъ сообщить слѣдующее. Переписка моя съ нимъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ обзавелся семьей, совершенно прекратилась и возобновлялась лишь періодами, довольно краткими, изъ которыхъ наиболѣе интереснымъ былъ періодъ послѣднихъ лѣтъ моей кievской жизни, когда Василій Григорьевичъ былъ уже профессоромъ С.-Петербургскаго университета или еще доцентомъ съ профессорскимъ содержаниемъ. Затѣмъ, послѣ моего переѣзда въ Петербургъ въ самомъ концѣ 1877 года, для переписки между нами, за исключеніемъ короткихъ записокъ, уже не было почвы. Къ тому же, подъ влияніемъ нѣ-

которыхъ обстоятельствъ, отчасти общественнаго свойства, когда наши идеалы и отношенія въ современнымъ событіямъ и дѣятелямъ стали расходиться все болѣе, на десятокъ лѣтъ или около того прекратились не только наши письменныя, но и почти личныя сношенія. Тѣ и другія возобновились только съ начала послѣдняго десятилѣтія прошлаго столѣтія, въ которомъ были годы, когда наша переписка достигала наибольшей интенсивности, и закончилась она лишь за нѣсколько дней до кончины Василья Григорьевича короткими письмами, какими мы обмѣнялись во время моей экскурсіи изъ Рима въ Неаполь, откуда я былъ внезапно вызванъ во Флоренцію извѣстіемъ о наступившей уже предсмертной ея агоніи. Я не знаю, будетъ ли мнѣ когда-либо суждено коснуться этого послѣдняго періода жизни покойнаго друга, когда, казалось, возобновилась между нами съ особенною силою теплота тѣсныхъ отношеній юности, но пока по разнымъ соображеніямъ я предпочитаю ограничиться именно юношескимъ періодомъ жизни Василья Григорьевича, тѣмъ періодомъ, когда этотъ выдающійся русскій ученый еще только готовился къ избранному имъ поприщу.

### 1. Въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ и въ С.-Петербургскомъ университетѣ.

Мало было въ Россіи высшихъ учебныхъ заведеній, столь существенно полезныхъ, каковъ былъ Главный Педагогическій Институтъ, закрытый весной 1859 года. Онъ въ теченіе тридцати лѣтъ снабжалъ учителями гимназій, кадетскіе корпуса, женскіе институты и давалъ значительную долю профессоровъ русскимъ университетамъ. Изъ него выходили зачастую видные ученые, талантливые писатели, выдающіеся дѣятели на разныхъ поприщахъ до людей государственныхъ включительно. Братья Вышнеградскіе, братья Лавровскіе, Воскресенскій (химикъ), Менделѣевъ, Мейеръ (юристъ), Благовѣщенскій, Мельниковъ (Печерскій), Добролюбовъ,—вотъ выдающіеся имена филологовъ, химиковъ, юриста, педагога, министра, попечителей, писателя, литературнаго критика и публициста, которыхъ сами собой приходятъ въ голову, когда заходитъ рѣчь о доброй памяти Главномъ Педагогическомъ Институтѣ. Особенная заслуга этого, повторяю, бывшаго *существенно полезнымъ*, высшаго учебнаго заведенія состояла въ томъ, что онъ служилъ воротами, черезъ которыя было всего удобнѣе пробивать себѣ дорогу въ свѣтъ наиболѣе даровитымъ воспитанникамъ духовныхъ семинарій.



Весьма значительная или даже главная часть студентовъ института состояла изъ этихъ послѣднихъ. Послѣдній директоръ его И. И. Давыдовъ, не смотря на то, что очень цѣнилъ въ студентахъ вѣншій лоскъ, свѣтскость, умѣнье говорить по французски и по нѣмецки, при каждомъ удобномъ случаѣ заявлялъ, что поступавшіе въ институтъ изъ семинарій большею частію быстро обгоняли поступающихъ изъ гимназій даже въ тѣхъ предметахъ, которые въ семинаріяхъ преподавались слабѣе и считались не важными. Я лично слышалъ не одинъ разъ это заявленіе директора, и принципиальная вѣрность его подтверждалась моими личными наблюдениями и впоследствии, хотя и въ иной сферѣ. Когда я въ Кіевѣ преподавалъ латинскую филологію и въ университетѣ, и въ духовной академіи, то не смотря на то, что моя программа преподаванія въ академіи была, какъ и слѣдовало, значительно уже, чѣмъ въ факультетѣ университета, гдѣ мой предметъ считался главнымъ, я замѣчалъ больше успѣховъ у студентовъ академіи, чѣмъ у студентовъ университета. И когда пріѣхавшій въ Кіевъ министръ народнаго просвѣщенія и оберъ-прокуроръ св. синода графъ Толстой спросилъ меня, гдѣ у меня лучшіе студенты,—въ университетѣ или въ академіи,—я долженъ былъ отвѣтить ему, что—въ академіи. Это я говорю для того, чтобы показать, какъ было важно, что у насъ существовало въ первую половину прошлаго столѣтія, когда университетамъ нашимъ жилось плохо, такое высшее заведеніе, которое давало широкій пріютъ питомцамъ духовныхъ семинарій, образовывая изъ нихъ очень полезныхъ и иногда важныхъ дѣятелей для государства, имѣвшаго въ способныхъ и просвѣщенныхъ людяхъ, особенно въ ту пору, сильный недостатокъ.

Вотъ въ гостепріимныя двери этого-то важнаго по своей пользѣ заведенія, въ августѣ 1856 года, пріѣхалъ изъ Ярославля, одновременно со мной, повгородцемъ, стучаться и Васильевскій. Это былъ небольшого роста, неуклюжій, волосатый, но съ добрымъ, постоянно улыбающимся лицомъ и съ очень мягкимъ его выраженіемъ, одѣтый въ сильно поношенный и грубо сшитый рыжевато-черный скротузъ, семинаристъ, какъ и я, какъ и многіе другіе. Онъ имѣлъ прекрасную подготовку по древнимъ языкамъ, по исторіи, по русской словесности; онъ читалъ уже по французски и по нѣмецки, онъ разсуждалъ о философіи, о религіи, о политикѣ, имѣлъ большую начитанность и былъ зараженъ скептицизмомъ по отношенію къ вопросамъ, которыхъ не легко касались другіе. Этотъ маленький и добродушнаго вида человекъ разомъ занялъ между своими товарищами выдающееся,

въ нѣкоторомъ родѣ привилегированное положеніе. Онъ былъ выше другихъ по развитію: это чувствовалось, сознавалось, принималось во вниманіе. Сближеніемъ съ нимъ стали скоро интересоваться и даровитые студенты старшихъ курсовъ, и между ними Добролюбовъ.

Въ то время профессора на историко-филологическомъ факультетѣ института были неважные. Рѣдкій изъ нихъ занимался своей наукой, хотя занятіемъ наукой въ то время обыкновенно считалось не изслѣдованіе научныхъ вопросовъ по новымъ даннымъ, а чтеніе выходящихъ по той или другой специальности книгъ и составленіе по нимъ компиляцій. Мы, филологи, напримѣръ, ни разу не слышали, что есть такой важный матеріалъ для филологіи и исторіи, какъ греческія и латинскія надписи. Даже прямо проповѣдывалось, что намъ, русскимъ, нѣтъ никакой надобности въ самостоятельномъ занятіи наукой, а достаточно переносить на свою почву то, что сдѣлано другими. При такомъ взглядѣ на дѣло написаніе профессоромъ статьи для какого-либо литературнаго журнала—*Отечественныхъ Записокъ*, *Современника*, *Библиотеки для чтенія*, потомъ *Русскаго Вѣстника* считалось уже ученымъ „трудомъ“ и своего рода событіемъ, тѣмъ болѣе, что и къ такимъ трудамъ способны были очень немногіе. Собственно говоря, статьи такого рода писалъ изъ профессоровъ нашего факультета одинъ Благовѣщенскій. Всѣ остальные были совершенно „не литературны“, такъ что Н. М. Благовѣщенскій имѣлъ право съ гордостью повторять, что „эти люди берутся за перо лишь для того, чтобы расписаться въ полученіи жалованья“. И это никого не удивляло: такое было уже глухое время. Единственнымъ ученымъ изъ профессоровъ историко-филологическаго факультета, занимавшимся научными изслѣдованіями, былъ И. И. Срезневскій. Но его преподаваніе было какъ-то отрывочно и не достаточно принимало во вниманіе, что онъ имѣетъ передъ собой слушателей, еще не знакомыхъ съ элементами славяновѣдѣнія. Оно интриговало своей новизной, но не умѣло привлечь къ себѣ надлежащимъ образомъ, возбудить охоту заняться предметомъ, какъ своей специальностью, тѣмъ болѣе, что и характеръ Измаила Ивановича былъ не изъ такихъ, которые влекутъ молодыхъ людей къ общенію съ профессорами. При всемъ томъ, преподаваніе Срезневскаго, хотя оно и никого не поставило на ноги для дальнѣйшаго занятія предметомъ, было полезно тѣмъ, что вносило новую струю въ факультетское преподаваніе. Въ то время какъ чтеніе другихъ профессоровъ было чтеніе по учебникамъ, съ которыми нѣкоторые преподаватели даже прямо приходили на лекцію, преподаваніе

Срезневскаго было своеобразно, независимо отъ обращавшихся между нами книгъ. Черезъ него мы узнали, что есть среди наукъ наука сравнительнаго языкованія. Между преподавателями исторіи былъ замѣтной величиной Лоренцъ, но онъ преподавалъ лишь въ старшихъ курсахъ и притомъ на нѣмецкомъ языкѣ, и для насъ онъ остался бесполезенъ уже потому, что ко времени нашего перехода въ старшій курсъ онъ уже вышелъ въ отставку. Его замѣнилъ М. Сем. Куторга; но это было въ самое послѣднее время нашего пребыванія въ институтѣ. Куторга былъ ученый съ заслугами и извѣстностью въ наукѣ, умѣлъ работать по источникамъ и обнаруживалъ самое яркое стремленіе къ самостоятельности. Къ тому же, каждая лекція его была обработана отъ начала до конца съ совершенствомъ, до тѣхъ поръ въ нашемъ институтѣ, по крайней мѣрѣ на историко-филологическомъ факультетѣ, неслыханнымъ. Выслушивались эти лекціи съ напряженнымъ вниманіемъ и иногда очаровывали своей стройностью, отчетливостью и изяществомъ изложенія. Но Куторга нерѣдко портилъ впечатлѣніе бранью на другихъ историковъ, униженіемъ именъ, уважаемыхъ студентами, между прочимъ, Грановскаго и Кудрявцева, и неумѣреннымъ самовосхваленіемъ. При всемъ томъ его кратковременное преподаваніе въ институтѣ не прошло даромъ: оно оставило слѣдъ и на Васильевскомъ, которому пришлось имѣть дѣло съ вліяніемъ и требованиями Куторги и впоследствии, когда онъ, по возвращеніи изъ-за границы, готовился къ магистерству. Въ первое же время нашего пребыванія въ институтѣ былъ наиболѣе увлекательнымъ преподавателемъ П. А. Вышнеградскій, старшій братъ математика, сдѣлавшагося потомъ министромъ финансовъ. Оба Вышнеградскіе были люди феноменальныя по своимъ дарованіямъ. Но особенность профессора педагогика заключалась въ его необыкновенно живомъ и краснорѣчивомъ преподаваніи. Сидѣть на его лекціи намъ, въ особенности на первыхъ порахъ, было наслажденіе, и мы всѣ сожалѣли, когда звонокъ прерывалъ лекцію этого профессора. Но не сожалѣлъ объ этомъ самъ Вышнеградскій, который вѣчно спѣшилъ, пріѣзжалъ на лекцію поздно и удалялся стремглавъ. Правду сказать, и приготовленіе его къ лекціи было самое посредственное, а иногда, казалось, оно и вовсе отсутствовало, такъ что за необычайно бойкою рѣчью нерѣдко чувствовался недостатокъ содержанія.

Въ общемъ итогъ о преподаваніи въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ надо сказать то, что оно, не стоя на надлежащемъ уровнѣ факультетскаго преподаванія, было намъ, особенно на первыхъ порахъ, все-

таки очень полезно. Оно прежде всего восполняло недостатки нашего среднего образованія и въ то же время открывало намъ дорогу къ высшему, если и не давало его въ требуемой полнотѣ и не ставило насъ на уровень, созданный успѣхами науки того времени. Это послѣднее обстоятельство особенно стало для насъ ясно, когда намъ потомъ пришлось слушать лекціи въ Германскихъ университетахъ. Но недостаточность преподаванія мы чувствовали и тогда, когда слушали своихъ профессоровъ, какъ въ институтѣ, такъ потомъ (на 4-мъ курсѣ) и въ университетѣ. Поэтому тѣ изъ насъ, которые обладали пытливымъ умомъ и жаждою большаго знанія, много читали. Къ этому чтенію отчасти приучались и всѣ студенты требованіемъ составленія, по очереди, профессорскихъ лекцій, т.-е., изложеніемъ содержанія ихъ на основаніи указанныхъ профессоромъ пособій. Но лучшіе изъ студентовъ, стараясь скорѣе овладѣть иностранными языками или хотя однимъ изъ нихъ, читали въ силу внутренней потребности самоусовершенствованія, и въ этомъ отношеніи между ними было нѣчто въ родѣ соревнованія. Каждый старался прочесть то, чего другой еще не читалъ, а если книга очень важная, то прочесть и ее, коль скоро она прочтена его товарищемъ. Соревнованіе это было, конечно, не между всѣми студентами извѣстнаго курса, а между наиболѣе даровитыми или, по крайней мѣрѣ, любознательными. Прочесть что-нибудь очень хорошее и рассказать своимъ товарищамъ, которые начинаютъ обсуждать это, было если не для всѣхъ, то для нѣкоторыхъ, дѣломъ высокаго удовольствія. Читались преимущественно книги капитальнаго значенія и такія, знакомство съ которыми необходимо для изученія науки; но читались съ большимъ интересомъ и русскіе литературные журналы, тогда ожившіе послѣ продолжительнаго омертвѣнія, больше всего *Современникъ*, а въ немъ статьи Чернышевскаго и Добролюбова, въ которыхъ слышался пульсъ современныхъ стремленій. Съ особенною жадностью читались, когда попадались подъ руку и изданія русскихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ: *Полярная Звѣзда* и затѣмъ начавшій тогда выходить *Колоколъ*. Вообще такъ называемая запрещенная литература какъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ, привлекала наше особенное вниманіе. Къ этой литературѣ относились не только политическія, но и философскія сочиненія. Изъ философовъ особенною любовью пользовался Фейербахъ съ его „Сущностью христіанства“ и „Сущностью религіи“. Напротивъ, матеріалистическая философія, по крайней мѣрѣ на нашемъ факультетѣ, не пользовалась сочувствіемъ. Распространявшаяся между нами

нѣкоторыми студентами старшаго курса въ рукописномъ московскаго происхожденія русскомъ переводѣ книги Бюхнера „Сила и матерія“ хотя и читалась съ интересомъ по нѣкоторой новизнѣ для насъ и смѣлости своихъ идей, но едва ли не всѣми осуждалась за крайній матеріализмъ своихъ выводовъ.

Васильевскій читалъ больше, чѣмъ кто-либо, и читалъ съ выборомъ. Такъ какъ онъ съ самаго начала опредѣлялъ себя на спеціальность по всеобщей исторіи, то онъ читалъ по преимуществу историческія книги, и больше всего по древней исторіи, которая его тогда особенно интересовала. Онъ читалъ Дункера и Грота по исторіи Греціи, Моммзена и Гиббона по исторіи Рима. Съ Гиббономъ въ нѣкоторой степени онъ былъ знакомъ, кажется, еще въ семинаріи, гдѣ онъ, благодаря вліянію одного изъ учителей, прочелъ многое, что было еще чуждо его товарищамъ. Читалъ онъ, конечно, также и классическія сочиненія по средней и новой исторіи, какъ напримѣръ, Огюстэна Тьерри „О завоеваніи Англіи норманнами“, Маколея „Исторію Англіи“. По англійски онъ сталъ читать уже къ концу студенческой жизни, а до того времени канитальныя англійскія сочиненія читалъ во французскихъ переводахъ, но въ такихъ, которымъ можно было вполне довѣриться. Таковъ Гиббонъ въ переводѣ Гизо, таковъ Шекспиръ въ переводѣ Гюго-сына. Читалъ онъ, конечно, и многое другое, читалъ, какъ я сказалъ, больше, чѣмъ кто-либо изъ товарищей. Только одинъ изъ нашихъ товарищей, рано умершій Ипп. Тим. Смирновъ, съ которымъ Васильевскій былъ тогда очень друженъ, — такъ что, по закрытіи Института, поселился съ нимъ на одной квартирѣ, — также историкъ, былъ ему въ этомъ отношеніи до нѣкоторой степени соперникомъ. Я въ первые два года студенчества обнаруживалъ склонность не къ классической филологіи, а скорѣе къ изученію новыхъ иностранныхъ литературъ, и весь второй годъ занимался провансальской поэзіей, ниша объ этомъ предметѣ полукурсовую диссертацию, которую вслѣдъ затѣмъ (1858) и напечаталъ въ видѣ двухъ статей въ *Библиотеку для чтенія*, редактировавшейся тогда Дружининимъ. Такъ какъ сочиненій по этому предмету въ институтской библиотекѣ было мало, то я цѣлый учебный годъ ходилъ въ Публичную библиотечку. Васильевскій въ ту пору въ Публичную библиотечку ходилъ мало, но у него какъ-то всегда были въ рукахъ нужныя ему и интересныя книги. Такъ какъ онъ давалъ уроки, то у него водились кое-какія деньжонки. Поэтому онъ еще тогда, въ первые годы студенчества, покупалъ хорошія книги. Одною изъ первыхъ и была

имъ приобретена Римская исторія Моммзена, къ которому онъ всегда чувствовалъ большое влеченіе, и вполнѣ раздѣлялъ взглядъ его на Римскую имперію, что было между нами предметомъ продолжительныхъ споровъ, какіе еще болѣе разгорѣлись нѣсколько позже, когда вышла очень также заинтересовавшая Васильевскаго книга Амедея Тьерри, прославлявшая Римскую Имперію. Споры наши въ этомъ отношеніи продолжались нѣлые годы, были такъ постоянны и такъ принципиальны, что я потомъ счелъ необходимымъ отмѣтить нашу разницу взглядовъ въ своей диссертациі о Тацитѣ. Въ другихъ отношеніяхъ наши взгляды постоянно объединялись, тѣмъ болѣе, что намъ приходилось разныя вещи узнавать не непосредственно, а черезъ сообщенія одного другому, такъ какъ предметы нашихъ студій были различны, а между тѣмъ каждый изъ насъ хотѣлъ знать то, что сдѣлалось извѣстно другому. Само-собою разумѣется, что мнѣ приходилось узнавать отъ Васильевскаго гораздо больше, чѣмъ ему отъ меня, такъ какъ въ то время перешеголять его въ напряженности занятій было дѣло трудное. Какое то было золотое для насъ время!

Съ переходомъ на четвертый курсъ, уже въ университетъ, занятія наши не могли быть до такой степени совмѣстными, какъ были въ то время, когда мы жили въ одной камерѣ, находясь въ постоянномъ общеніи. Да и вообще заниматься намъ на 4-мъ курсѣ было далеко не такъ удобно, какъ прежде. Заботы о существованіи, при стипендіи въ 16 рублей съ копѣйками, отсутствіе подъ руками большой библіотеки, новые интересы, сами-собою явившіеся на сцену въ новой обстановкѣ, довольно шумная студентская жизнь кругомъ, наконецъ самая отдаленность отъ университета (Васильевскій жилъ на Владимірской улицѣ, я въ Коломенѣ), дѣлавшая наше посѣщеніе университета все болѣе и болѣе рѣдкимъ,—все это мало благоприятствовало той напряженности, какъ и систематичности занятій, къ какой мы привыкли въ институтѣ. Я даже не могу припомнить, на чемъ собственно сосредоточивались тогда студія Васильевскаго. Конечно, онъ тогда занимался матеріалами для своей диссертациі, которую надо было подать до окончанія курса, но не помню, какая собственно была тема его диссертациі. Вѣроятно, она касалась исторіи древняго міра, которою онъ и раньше и позже интересовался всего больше. Я, въ послѣдніе два года студенчества, окончательно перешедшій на классическую филологію, былъ званъ въ то время, по приглашенію Н. М. Благовѣщенскаго, изслѣдованіемъ о только-что открытомъ тогда латинскомъ историкѣ раніѣ Лициніанѣ. Работа

эта и поглощала у меня главнымъ образомъ время занятій въ послѣдній годъ студенчества. Васильевскаго она, конечно, интересовала, но, сколько помню, уже не въ такой степени, какъ мы интересовались занятіями другъ друга, когда жили въ институтѣ.

Вообще нужно сказать, что въ этотъ послѣдній годъ нашего студенчества, годъ университетскій, чисто научные интересы, какимъ мы были преданы въ институтѣ, уже не имѣли въ нашихъ глазахъ прежняго обаянія. На насъ нахлынула современность съ такою силою, какой мы до этого момента не испытывали. Необычайное для той эпохи общественное движеніе, порожденное предпринятыми законодательными реформами и прежде всего крестьянскою (это было накануне уничтоженія въ Россіи крѣпостного права) и выразившееся между прочимъ въ большомъ оживленіи журналистики, въ воскресныхъ школахъ, въ публичныхъ лекціяхъ, въ открытіи дверей университета для всякаго желающаго войти въ нихъ, не исключая женщинъ, наконецъ, начавшееся политическое броженіе въ Польшѣ, которое отзывалось въ студенческихъ кружкахъ и въ Петербургѣ — все это на насъ дѣйствовало отвлекающимъ отъ научныхъ занятій образомъ, возбуждало нервы, настраивало ихъ въ другую сторону, въ сторону общественную, вызывало оживленные споры, заставляло интересоваться науками общественными и политическими. Не проникнутыя этимъ общественнымъ и политическимъ интересомъ профессорскія лекціи, каковы по своей природѣ большей частію лекціи профессоровъ историко-филологическаго факультета, казались скучными. Поэтому, не усердно посѣщая лекціи другихъ профессоровъ, мы считали своею обязанностию посѣщать лекціи приглашеннаго тогда въ Петербургскій университетъ на кафедрѣ русской исторіи П. И. Костомарова. Посѣщались нами эти лекціи не потому, чтобъ мы особенно интересовались русскою исторіей, а потому, что послѣ Устрялова, котораго впрочемъ намъ и не удалось слушать по причинѣ его болѣзни, и особенно Касторского, къ которому никто не питалъ уваженія, онѣ казались общественнымъ протестомъ противъ исторіи казенной, и такъ сказать, „офиціозной“. Хотя никакой ясной политической тенденціи въ лекціяхъ Костомарова даже и тогда, когда онъ читалъ о сѣверныхъ „народоправствахъ“, не было, онѣ какъ-то сами собою получили общественно-политическій характеръ. На нихъ собирался, какъ говорится, весь Петербургъ. Не находя для всей этой массы посѣтителей никакой достаточно вмѣстительной аудиторіи, университетское начальство отвело для нихъ бывшія спальни Главнаго Педагогическаго Ин-

ститута. Хорошо ли, худо ли читалъ Костомаровъ, это интересовало мало. Достаточно было того, что онъ читалъ не такъ, какъ до тѣхъ поръ читалось, а онъ читалъ, по его словамъ, исторію русскаго народа, а не государства, и этого было достаточно, чтобъ лекціи эти посѣщались студентами всѣхъ факультетовъ, литераторами, чиновниками, офицерами, студентами другихъ заведеній, дамами. При несомнѣнной ясности дикціи лектора, то, что онъ говорилъ, до ушей главной массы слушателей доходило слабо, частями, отрывками. Но и это было не бѣда. Приходили на эти лекціи главнымъ образомъ для того, чтобъ тутъ встрѣтиться съ знакомыми, обмѣняться общественными новостями, политическими слухами. Понятно, что при такой, столь насыщенной электричествомъ, общественной атмосферѣ интересъ къ специальнымъ, чисто научнымъ, занятіямъ долженъ былъ неизбежно понизиться. Поэтому я думаю, что не только я и другіе, но и Васильевскій, который въ юности былъ не меньше преданъ общественно-политическимъ интересамъ, чѣмъ его товарищи, въ послѣдній годъ студенчества успѣлъ въ дѣлѣ научныхъ занятій не много. О томъ, что и окончательные экзамены онъ сдавалъ не особенно удачно, говорить то, что онъ не получалъ никакой медали, какія нѣкоторые изъ насъ получили въ силу существовавшего въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ обычая, такъ какъ мы оканчивали курсъ на правахъ этого института и потому получали не степень кандидата и званіе дѣйствительнаго студента, а званіе старшаго и младшаго учителя гимназій.

## 2. По выходѣ изъ университета до заграничной командировки.

Окончивъ, такимъ образомъ, университетскій курсъ съ званіемъ старшаго учителя гимназій, мы были оставлены на два года въ Петербургѣ на такъ называемыхъ педагогическихъ курсахъ, которые были тогда именно и устроены, какъ нѣкоторая замѣна Главнаго Педагогическаго Института. Курсы эти, какъ и многое другое, что у насъ устраивалось въ дѣлѣ образованія, было нѣчто очень не цѣлесообразное. Это было нами понято съ перваго раза. Каждый изъ насъ долженъ былъ причислиться къ одной изъ гимназій и, находясь подъ руководствомъ одного изъ профессоровъ, посѣщать уроки того или другого учителя по избранному предмету. На самомъ дѣлѣ, профессорскаго руководства не было, а посѣщеніе гимназическихъ уроковъ,



никѣмъ не направляемое и въ лучшемъ случаѣ имѣвшее результатомъ усвоеніе практическихъ приѣмовъ преподаванія посѣщаемого учителя, приѣмовъ, большею частью вовсе не образцовыхъ, не вело ни къ чему осязательно полезному и было кромѣ того очень скучно. Вся выгода пребыванія на этихъ курсахъ состояла въ томъ, что, живя въ Петербургѣ, можно было продолжать научныя занятія, готовиться къ экзамену на степень магистра и собирать матеріалы для магистерской диссертациі. Но эта выгода парализовалась тѣмъ обстоятельствомъ, что на получавшуюся нами стипендію въ 29 рублей съ копѣйками въ мѣсяцъ жить въ Петербургѣ молодому человѣку, уже не студенту, было нельзя, и потому надобно было главныя свои усилія направить не на научныя занятія, а на пріисканіе средствъ къ существованію. Я такой жизни не выдержалъ и черезъ три мѣсяца, отказавшись отъ мертворожденныхъ педагогическихъ курсовъ, отправился старшимъ учителемъ гимназіи по латинскому языку въ Петрозаводскъ. Васильевскій, какъ и нѣкоторые другіе изъ товарищей, нашелъ возможнымъ остаться въ Петербургѣ. Такъ какъ онъ былъ мнѣ ближе всѣхъ другихъ, то у меня и началась съ нимъ съ самаго моего пріѣзда въ провинціальный городъ дѣятельная переписка. Переписка эта касалась всего, чѣмъ жилъ тогда, съ одной стороны, интеллигентный Петербургъ, съ другой—Петрозаводскъ, насколько, конечно, эта жизнь отражалась въ нашихъ представленіяхъ. Относящіяся къ ней письма Васильевского могутъ поэтому служить наилучшимъ матеріаломъ для перваго періода его жизни, по окончаніи университетскаго образованія. Не смотря на то, что я совсѣмъ оставилъ Петрозаводскъ черезъ полгода, писемъ Васильевского за это время у меня накопилось очень много, и я постараюсь извлечь изъ нихъ то, что можетъ служить для лучшаго уясненія личности столь крупнаго потомъ русскаго ученаго.

Содержаніе писемъ Васильевского разнообразно. Оно касается, кромѣ обсужденія моихъ петрозаводскихъ отношеній, его положенія на педагогическихъ курсахъ, его ученыхъ занятій, университетскихъ дѣлъ, внутренней политики правительства, волненій въ Царствѣ Польскомъ и, наконецъ, разныхъ лицъ, важныхъ и не важныхъ, больше же всего товарищей и вообще близкихъ къ кружку, въ которомъ онъ вращался, лицъ. Для обрисовки возрѣвній, характера и тогдашняго положенія его, слѣдовало бы коснуться болѣе или менѣе каждой изъ этихъ категорій содержанія писемъ. Но исполненіе этой

задачи, по разнымъ причинамъ, по крайней мѣрѣ теперь, я взять на себя не могу, а буду имѣть въ виду лишь то, что такъ или иначе служить уясненіемъ подготовки его къ будущему ученому и профессорскому поприщу.

Уже въ первомъ, довольно длинномъ письмѣ отъ 30-го ноября (1860 г.) онъ касается вопроса о денежныхъ затрудненіяхъ, въ какія ставитъ оставшихся на педагогическихъ курсахъ ничтожная стипендія, и радуется извѣстію, что министръ обѣщаль къ празднику субсидію. По поводу этого извѣстія онъ замѣчаетъ: „Дай-то Богъ! кулюю собѣ часы, безъ которыхъ весьма страдаю“. Таково было на первыхъ порахъ, по окончаніи университетскаго курса, положеніе будущаго основателя школы византистовъ въ Россіи! Что же касается до самихъ занятій на этихъ курсахъ, то онъ, получивъ позволеніе преподавать въ одномъ изъ классовъ избранной имъ гимназій, сообщаетъ слѣдующее: „Я продолжаю пока читать въ гимназій: *пока*, ибо педагогическій совѣтъ рѣшилъ, что намъ нельзя поручать цѣлаго класса. Говоритъ Красовъ (*учитель, который долженъ былъ его руководить*)<sup>1)</sup>, что только иногда и промежутками между учительскими лекціями будемъ читать и мы. Верхъ нецѣлости! Тогда я перестану ходить въ гимназію. Другіе говорятъ, что для насъ отдѣляютъ слабѣйшихъ учениковъ: тоже не отрадно. Со мной былъ такой случай: послѣ одной лекціи въ 6-мъ классѣ подходитъ ко мнѣ одинъ ученикъ и говоритъ: „нельзя ли читать поближе къ учебнику, а то тамъ ничего нѣтъ, что вы говорили. Вотъ Иванъ Ивановичъ (*Красовъ*), такъ читалъ близко къ учебнику. Я отъ этого и не могъ отвѣтить вамъ сегодня на вашъ вопросъ (я его просилъ повторить)“. Просто холодной водой окатилъ“.

Картинка, нарисованная этимъ письмомъ, дастъ намъ наглядное представленіе какъ о нѣкоторой безтолочи устроенныхъ, въ замѣнъ педагогическаго института, педагогическихъ курсовъ, такъ и о самыхъ первыхъ шагахъ Васильевскаго на поприщѣ преподаванія. Нельзя не обратить вниманія на то, что Василій Григорьевичъ тутъ называетъ гимназическій урокъ *лекціями*. Обращеніе ученика къ нему о перемѣнѣ характера преподаванія, какъ видно, и вызвало было тѣмъ, что нашъ другъ вмѣсто прохожденія съ учениками урока или объяс-

<sup>1)</sup> Я буду и впредь подчеркивать для курса принадлежанія мнѣ, ради поясненія дѣла, вставки въ текстъ писемъ Василія Григорьевича, чтобы тѣмъ отличить мои вставки отъ его собственныхъ.

ненія его, читалъ лекцію. На первыхъ порахъ преподаванія это бываетъ если не со всѣми, то со многими.

Въ томъ же письмѣ онъ сообщаетъ первый опытъ преподаванія въ гимназіи одного изъ нашихъ товарищей, также оставленнаго на педагогическихъ курсахъ, С. Г. О., теперь еще здравствующаго. Только тутъ дѣло касается по исторіи, а латинскаго языка, при чемъ учителемъ-руководителемъ является хорошо извѣстный въ свое время Гр. И. Лапшинъ, бывшій преподавателемъ этого языка и на первомъ курсѣ въ университетѣ. „О. прочелъ одну лекцію (*опять лекцію!*) въ гимназіи. Григорій Ивановичъ и Лемониусъ (*директоръ*) нашли, что онъ не въ тонъ взялъ, и О. теперь подъ отлученіемъ. „Походите, да поприглядитесь, поприслушайтесь къ Григорію Ивановичу“. Григорій Ивановичъ просто экзаменовалъ его (*на урокъ-то, передъ учениками!*): „а скажите, еслибъ тутъ рѣчь была прямая, а не obliqua, какъ бы нужно сказать?“ С. Г. сказалъ. Григорій Ивановичъ отвѣтилъ, что не такъ, а вотъ какъ. О. съ яростію рассказывалъ объ этомъ. Посмотримъ, что будетъ дальше“.

Дальше было не лучше. Курсы эти на первыхъ же порахъ потеряли всякій кредитъ. Профессора, руководству которыхъ ввѣрено было занятіе поступившихъ на курсы молодыхъ людей, и которымъ за это полагалось какоо-то ничтожное познгражденіе, относились къ этому учрежденію болѣе чѣмъ скептически. Васильевскій отъ 6-го декабря мнѣ пишетъ между прочимъ слѣдующее: „Костомаровъ говоритъ, что педагогическіе курсы „чужъ“, что относительно званія учителя вполне имѣетъ приложеніе текстъ: Аще языки ангельскими и человѣческими глаголю, любве же не имамъ, то буду аки кимвалъ звяцаѣй, или мѣдъ звѣнѣща. Мы были у него по поводу вопроса о темахъ вскорѣ послѣ твоего отъѣзда. Эту мысль усваиваетъ С., ея же держится и Благовѣщенскій“. Въ письмѣ отъ 21-го февраля (1861) онъ пишетъ: „Я ничего не дѣлаю въ гимназіи: только прихожу заглянуть разъ въ недѣлю. Знаешь ли, я прихожу къ той мысли, что преподаваніе исторіи, какъ науки, въ гимназіи—дѣло совершенно излишнее, не приносящее никакой пользы: это меня смущаетъ, ибо приходится разстаться съ своею мечтой о будущей полезной дѣятельности, какъ воспитателя юношества. Впрочемъ еще нужно посмотрѣть“. Просуществовавъ короткое время больше на бумагахъ, чѣмъ въ дѣйствительности, курсы эти были закрыты. Пришли къ мысли о возстановленіи Главнаго Педагогическаго Института, но замѣнили его Историко-фило-

логическимъ (1867), т.-е. оставили одну половину покойнаго института, который состоялъ не изъ одного, а изъ двухъ факультетовъ.

О своихъ ученыхъ занятіяхъ Васильевскій сообщалъ мнѣ въ Петрозаводскъ немного. Въ сообщеніяхъ его чрезмѣрно преобладаетъ элементъ общественно-политическій. Оно и понятно. Письма эти писаны частію непосредственно передъ манифестомъ объ освобожденіи крестьянъ, частію въ ближайшее время по обнародованіи этого манифеста. Начинались волненія въ университетѣ; и польскія дѣла принимали все болѣе и болѣе тревожный характеръ. Такія эпохи не благоприятствуютъ бесѣдамъ съ музами, которыя любятъ тишину и уединеніе. Но Васильевскій былъ не такой человѣкъ, чтобы не двинуться дальше въ научномъ отношеніи и забросить въ какую бы то ни было эпоху умственныхъ занятій. Въ письмѣ отъ 18-го января 1861 года онъ мнѣ сообщаетъ, что въ какомъ-то вновь открытомъ „педагогическо-историческомъ“ обществѣ, собиравшемся по субботамъ два раза въ мѣсяцъ въ 5-й гимназіи, онъ прочелъ біографію Демосоена. Но это была біографія, какія въ этомъ обществѣ положено было составлять для гимназическаго употребленія. Въ относящемся къ этому времени письмѣ безъ обозначенія мѣсяца, жалуясь на трудность заниматься въ Петербургѣ и завидуя мнѣ, что я, уѣхавъ въ провинцію, могу предаваться своимъ научнымъ занятіямъ, онъ пишетъ: „Я снова начинаю думать, что для самовоспитанія и довершенія своего образованія нужно будетъ отправиться въ провинцію на нѣсколько годовъ (два, три). А то здѣсь чортъ знаетъ какъ идетъ время. Въ послѣднее время началъ-было читать Полибія: глаза немного заболѣли, но я уже отбился отъ дѣла и до сихъ поръ не могу приняться за него; почитаваю только понемножку исторію революціи Мишле. Англійскій языкъ, въ которомъ было я сдѣлалъ большіе успѣхи, тоже остановился“. Мысль объ удаленіи на нѣкоторое время въ провинцію онъ впоследствии и исполнилъ, пробывъ два или три года въ Вильнѣ передъ тѣмъ, какъ онъ былъ приглашенъ доцентомъ въ С.-Петербургскій университетъ. Въ Вильнѣ именно и началась его серьезная ученая дѣятельность, съ которой онъ уже потомъ и не разставался. Но это случилось гораздо позже.

На актѣ 12-го января 1861 года московскій профессоръ Леонтьевъ говоритъ рѣчь на тему: „О земледѣльческихъ классахъ въ древнемъ Римѣ“. Прочитавъ эту рѣчь въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, я былъ пораженъ ея слабостью въ ученомъ отношеніи, въ аргументаціи, въ зна-

комствѣ съ новыми изслѣдованіями и сообщилъ свое впечатлѣніе Васильевскому. Въ томъ же письмѣ безъ обозначенія мѣсяца, но лишь съ числомъ 11 (вѣроятно февраля, а можетъ быть и марта), онъ пишетъ: „Странное дѣло: рѣчь Леонтьева и меня чуть не вызвала на разборъ; Щ. уже занимается имъ, взялъ у меня книги. Леонтьевъ дѣлается рѣшительно личнымъ врагомъ моимъ. Сначала Моммзенъ и его переводъ (*не знаю, почему Василій Григорьевичъ приписывалъ начатый тогда въ Москвѣ переводъ Моммзена Леонтьеву*). Потомъ эта рѣчь: вѣдь—я говорилъ тебѣ или нѣтъ? что я буду писать о Гракхахъ: это диссертация ученая, которую мы должны представить въ педагогическій совѣтъ. А онъ—этотъ Леонтьевъ—и тутъ предупредилъ меня, „переелъ славу“. Впрочемъ, прочитавъ его рѣчь, я успокоился: она имѣетъ весьма много недостатковъ. Пропитана насквозь русско-вѣстническимъ направленіемъ; потомъ—какъ сбивается въ объясненіи причинъ упадка римскаго устройства и пр. и пр.“. Изъ этого письма видно, что Василій Григорьевичъ собирался переводить исторію Моммзена. Дѣйствительно, въ письмѣ отъ 21-го февраля онъ мнѣ сообщаетъ, что собирается на дняхъ переписать „отрывокъ“ изъ Моммзена и снести его для напечатанія Тиблену. Тиблень былъ не издатель какого-нибудь журнала, а содержатель типографіи. Значить, „отрывокъ“ былъ большой. Но что это былъ за отрывокъ и какава его судьба, объ этомъ я ничего не знаю и не помню. Василій Григорьевичъ прибавляетъ: „хорошо, если бы онъ (Тиблень) взялъ; а если нѣтъ, то, можетъ быть, дастъ другую работу, и тогда я брошу свои уроки. Вообще мнѣ хочется заняться болѣе серьезно“. Объ этомъ желаніи серьезно заняться свидѣтельствуетъ и его заявленіе, что онъ собирается купить Шекспира въ переводѣ Гюго-сына и взяться за чтеніе Софокла.

Но обстоятельства складывались все такимъ образомъ, что усидчивыя занятія въ это время никакъ не налаживались, и это его безпокоило. Василій Григорьевичъ надѣялся было заняться въ деревнѣ, куда его приглашали гѣломъ на уроки, но потомъ дѣло съ лицами, которыя его звали, не сладилось, и онъ мнѣ пишетъ по этому поводу отъ 12-го апрѣля (1861): „Я, какъ ты знаешь, уже не ѣду больше къ З... Бѣда только въ томъ, что на это время я особенно началъ разсчитывать въ отношеніи своихъ занятій. Они у меня совсѣмъ остановились, а это очень плохо. По временамъ находить тоска, что время все идетъ да идетъ, а я все стою да стою. Между тѣмъ, кромѣ всего прочаго, на мнѣ лежитъ и нравственная обя-

занность держать на степень (*т.-е. магистра*). А, чертъ возьми! Да какъ посмотришь, да подумаешь, такъ и выходитъ, что живешь только для собственнаго пропитанія. Гадко! А между тѣмъ нѣтъ силы воли бросить все и дѣлать дѣло. Да можно ли жить на 29 рублей? Эта гадкая мысль сейчасъ же является“. Та же грустная нота звучитъ и въ письмѣ отъ 8-го мая, только здѣсь выставляется другая причина, отвлекающая отъ работы, любовь къ женщинѣ, также похищающая время, какъ и работа, обращенная на приобритеніе средствъ къ существованію. „Въ то же время,—пишетъ онъ,—я чувствовалъ необходимость заняться дѣломъ серьезно. Твои письма убѣдили меня, что провинція — не рай, что ѣхать въ нее опасно, а если ѣхать, такъ ужъ во всеоружіи... Въ то же время Срезневскій и С. убѣждали меня не бояться магистерскаго экзамена, писать скорѣе диссертацию. Я мучился и ничего не дѣлалъ“. На лѣто ему удалось, однако, уѣхать въ деревню къ богатому помѣщику на уроки, въ Малороссію. Тамъ у него научныя занятія двинулись, но если судить по письму отъ 30-го іюня, полученному мной уже въ Петербургѣ, то они шли не въ той степени удовлетворительно, какъ онъ рассчитывалъ. Кажется однако, что онъ тутъ нѣсколько скромничаетъ. Письмо это исполнено лиризма отъ наслажденія очаровательной природой и дышетъ, вообще говоря, очень бодрымъ настроеніемъ. По это настроеніе нѣсколько падаетъ, когда онъ заводитъ рѣчь о своихъ занятіяхъ. „А въ остальное время что дѣлаю?“ спрашиваетъ онъ себя и отвѣчаетъ: „ужъ я сказалъ, что читаю Иродота или, если хочешь, Геродота. Прочиталъ вторую книгу (первую я читалъ прежде), третью, нѣсколько главъ 4-й, пятую и шестую. Съ Нибуромъ дѣло идетъ плохо. О сочиненіи своемъ я было и забылъ. Вѣдь ты, конечно, знаешь, что я хотѣлъ писать о Гракхахъ; но теперь начинаю думать, что это—слишкомъ обширная тема. Какъ ты думаешь? нужно и мнѣ думать о держаніи (*магистерскаго экзамена*). Я обѣщалъ С. написать сочиненіе (*въроятно рѣчь идетъ о сочиненіи, относящемся къ его обязанности, какъ состоящаго на педагогическихъ курсахъ*) къ новому году: не знаю, успѣю ли. Я никакъ не могу сосредоточиться на одномъ предметѣ. Да кромѣ того здѣсь нѣтъ и пособій, которыя нужны для занятій моими диссертациями. А что если въ этотъ годъ я ничего не сдѣлаю? Въ провинцію. А чтожъ? Можетъ быть, тамъ-то и начнется жизнь: твой примѣръ! Это впрочемъ сомнительно“...

Этимъ письмомъ заключается серія писемъ, вызванныхъ моимъ

отъѣздомъ въ Петрозаводскъ. Въ юнѣ 1861 года я возвратился въ Петербургъ и, получивъ разрѣшеніе (командировку) остаться въ Петербургѣ для держанія магистерскаго экзамена, прожилъ здѣсь всю зиму въ постоянномъ живомъ общеніи съ Васильевскимъ, такъ что для переписки не было мѣста, тѣмъ болѣе, что квартиры наши были очень близки одна отъ другой. (Онъ жилъ на Кабинетской, а я на Невскомъ проспектѣ, между Литейной и Надеждинской).

Зима 1861—1862 гг. была одна изъ тревожныхъ, какія мнѣ пришлось пережить въ Петербургѣ. Тутъ было не до занятій: политика овладѣла всѣми умами, а тревога была такъ велика, что многіе, даже изъ очень серьезныхъ и чуждыхъ политическаго движенія, людей ожидали кроваваго переворота и принимали мѣры къ обезопасенію своихъ денежныхъ средствъ на случай какой-либо катастрофы. Между прочимъ, мнѣ сообщалъ впоследствии о принятыхъ имъ такого рода мѣрахъ академикъ Билярскій, увѣряя, что такъ поступали и его знакомые. Начался этотъ тревожный сезонъ еще въ концѣ лѣта, когда появилась привезенная Михайловымъ изъ Лондона и напечатанная хорошимъ шрифтомъ, на плотной бумагѣ прокламація „Къ молодому поколѣнію“, которая, какъ говорили, даже раздавалась въ Павловскомъ вокзалѣ во время музыки. Закончился же этотъ сезонъ страшными пожарами въ Петербургѣ въ началѣ лѣта 1862 г., истребившими между прочимъ Апраксинскій рынокъ. Въ первую половину этого періода происходили постоянныя волненія въ университетѣ, ознаменовавшіяся и крупными уличными беспорядками, какова была процессія изъ университета по Невскому проспекту въ Колокольную улицу, направившаяся къ тогдашнему попечителю, генералу Филиппсону. Я живо помню, какъ видѣ этой безчисленной массы народа, остановившей конное движеніе на Невскомъ проспектѣ, загромодившей потомъ Владимірскую улицу, видѣ отовсюду приближавшихся частей войска взволновали петербургское населеніе, совсѣмъ не привыкшее къ подобнымъ проявленіямъ уличной жизни. Я въ это время сидѣлъ дома, читая Гомера или Софокла для магистерскаго экзамена, какъ вдругъ вбѣгаетъ ко мнѣ впопыхахъ Васильевскій и сообщаетъ о случившемся. Мы вышли поспѣшно на улицу и были свидѣтелями, какъ со всѣхъ сторонъ торопливо стекавшаяся публика въ недоумѣніи смотрѣла на невиданное зрѣлище, опасаясь кровавыхъ столкновеній. Дѣло обошлось, правда, благополучно, но впечатлѣніе этого событія на общество было не малое. Затѣмъ начались ежедневныя сцены вокругъ университета, гдѣ собиралась масса студентовъ, не желавшихъ принять заведенныхъ

тогда матрикultz и вызывавшая принявших эти документы товарищей на улицу. Не разъ мнѣ приходилось пробираться сквозь шумную толпу молодежи, запружавшую университетскій дворъ и паружный корридоръ, по которому мнѣ нужно было проходить въ помещеніе библіотекки, и одинъ разъ даже едва удалось выйти изъ библіотекки черезъ дворъ на улицу, которая была наполнена войскомъ, оцѣнившимъ университетъ въ виду шумнаго волненія студентовъ на университетскомъ дворѣ.—Наконецъ, университетъ былъ закрытъ, а массы (кажется, болѣе трехъсотъ) студентовъ была арестована.

Спокойствіе однако не водворялось. Закрытіе университета вызвало открытіе разныхъ публичныхъ курсовъ въ городѣ. Наиболѣе привлекавшіе вниманіе курсы читались въ большой залѣ Думы, а наиболѣе посѣщаемые курсы были курсы Костомарова. Костомаровъ, безъ всякаго сомнѣнія, совсѣмъ не думалъ своими лекціями по русской исторіи служить цѣлямъ политической агитаціи. Но выходило такъ, что посѣщеніе его лекцій, на которыя, какъ годъ тому назадъ, стекались люди всякаго званія и состоянія, поддерживало въ обществѣ броженіе, охватившее его съ осени. Уже тотъ фактъ, что лекціи для студентовъ читались не въ университетѣ, который былъ формально и въ дѣйствительности закрытъ, а въ разныхъ городскихъ помещеніяхъ, самъ по собѣ былъ показателемъ ненормальности положенія, которая всемъ бросалась въ глаза и вызвала ожиданіе развязки. Какъ общество того времени было возбуждено, доказываетъ случай съ рѣчью проф. Плат. В. Павлова на литературномъ вечерѣ въ залѣ Руадзе (нынѣ Кононова). Нѣсколько мало значущихъ фразъ, употребленныхъ профессоромъ при краткомъ обзорѣни тысячелѣтія государственнаго существованія Россіи, фразъ, говорившихъ о сближеніи съ народомъ, привели многочисленную публику, въ средѣ которой былъ и я, въ такое возбужденное состояніе, какого я до тѣхъ поръ никогда и нигдѣ не видывалъ, такъ что рѣчь, въ сущности невиннѣйшая, но произведшая такое неожиданное дѣйствіе, была принята властями за нѣчто мятежное, и бѣдный Павловъ поплатился за это ссылкой въ Ветлугу. Событіе это тотчасъ же отозвалось новымъ волненіемъ среди молодежи и имѣло своимъ послѣдствіемъ закрытіе и читавшихся въ городѣ профессорскихъ курсовъ. Прекращенія ихъ потребовалъ сначала самъ, распорядившійся ими, студентскій комитетъ, въ знакъ протеста по случаю кары, постигшей Павлова; но такъ какъ профессора не были на это согласны, то на декціи Костомарова, заявившаго о продол-



женіи чтеній, произошелъ крупнѣйшій скандалъ: популярнѣйшій изъ профессоровъ былъ частію публики оскорбленъ грубыми словами, опшканъ, освистанъ и выпелъ изъ залы, высказавъ презрѣніе къ шумѣвшей толпѣ, назвавъ героевъ скандала Кречинскими, изъ которыхъ выйдутъ потомъ Расплюевы. Можно себѣ представить, каково было положеніе читавшихъ лекціи профессоровъ послѣ этого „думскаго“ событія и легко ли было возобновленіе лекцій при отсутствіи спокойствія среди слушателей. Чтобъ положить конецъ этому ненормальному состоянію, правительство распорядилось прекращеніемъ всѣхъ курсовъ, читавшихся въ замѣнъ университетскихъ. Но и эта, казавшаяся необходимою, мѣра не дала успокоенія обществу. Тревожное его состояніе продолжалось, подѣ влияніемъ распространявшихся революціонныхъ прокламацій, пока страшный пожаръ толкучки и Апраксина рынка, доведшій эту тревогу до высшей точки, не вызвалъ съ одной стороны отрезвленія, съ другой—реакціи.

Здѣсь не мѣсто входить въ объясненіе причинъ, которыя бы дѣлали понятнымъ сильное общественное броженіе въ зиму 1861—1862 года, въ эпоху, когда правительство было либерально и, проникнутое прогрессивными стремленіями, казалось, могло бы имѣть на своей сторонѣ всѣ симпатіи наиболѣе живыхъ общественныхъ элементовъ. Я счелъ нужнымъ лишь набросать картину тогдашняго положенія дѣлъ въ этотъ періодъ въ Петербургѣ, чтобы читателю было понятно, какъ молодымъ людямъ было трудно въ такое время предаваться научнымъ занятіямъ. Вспоминая тогдашнее волненіе умовъ и то напряженное состояніе, въ которомъ мы находились, въ виду разныхъ неожиданностей, я самъ удивляюсь, какъ я могъ въ это время готовиться къ магистерскому экзамену и сдать его. О Васильевскомъ же знаю, что онъ и не готовился къ нему и думалъ о немъ менѣе, чѣмъ годъ назадъ. Оставивъ университетскую скамью такъ недавно, всего лишь годъ назадъ, мы такъ еще близко стояли къ университету, къ студентамъ и профессорамъ, что не могли считать ихъ стремленій и интересовъ чуждыми намъ. Поэтому, что волновало ихъ, волновало и насъ. Нѣкоторые изъ студентовъ, руководившихъ движеніемъ своихъ товарищей, были намъ, по старымъ отношеніямъ, близкими друзьями. Естественно, что мы до извѣстной степени были au courantъ всего этого движенія и—нечего грѣха таить—относились къ нему не безъ нѣкотораго сочувствія. Васильевскій въ этомъ сочувствіи не отставалъ отъ другихъ. Мнѣ было нѣсколько странно читать въ статьѣ одного изъ учениковъ моего покойнаго друга о томъ, что онъ былъ „кон-

серваторъ“, хотя и въ благородномъ смыслѣ этого слова. Тѣмъ, что у насъ называютъ консерваторомъ, т.-е. лицомъ, упорно стоящимъ за сохраненіе status quo, Васильевскій не былъ никогда и тѣмъ менѣе въ юности. Въ позднѣйшую пору жизни онъ умѣлъ до известной степени обнаруживать такую индифферентность по отношенію къ волновавшимъ, по временамъ, наше общество политическимъ вопросамъ, что если его не принимали прямо за консерватора, то его мнѣніями по этимъ вопросамъ не интересовались. Онъ дѣйствительно сталъ уклончивъ въ этомъ отношеніи даже въ разговорѣ съ людьми близкими, обыкновенно отдѣлываясь какимъ-либо шутивнымъ замѣчаніемъ. Но въ молодые годы онъ, не скрываясь, стоялъ въ очень либеральномъ ряду, не сочувствуя, разумѣется, тѣмъ крайностямъ, къ которымъ прибѣгала революціонная партія. Его либерализмъ былъ здоровымъ либерализмомъ чловѣка науки и притомъ историка, который знаетъ, что всякій застой есть явленіе ненормальное и болѣзненное, что движеніе вперёдъ для здоровья общественнаго организма необходимо, что оно есть законъ жизни развивающейся, идущей къ своему совершенству. Таковы были его воззрѣнія молодыхъ лѣтъ, засвидѣтельствованныя и въ многочисленныхъ письмахъ его; съ таковыми, пожалуй, онъ сошелъ и въ могилу, но не считалъ благоразумнымъ высказывать ихъ тамъ, гдѣ либерализмъ былъ слово, не совсѣмъ цензурное. Онъ считалъ возможнымъ ограничить свою роль въ общественной жизни исключительно ролью ученаго, которая и на самомъ дѣлѣ всего болѣе отвѣчала его вкусамъ и его, въ сущности, флегматической, натурѣ. Но въ ту тревожную эпоху, о которой я только что говорилъ, и онъ подчинился общему потоку, увлекался общественнымъ теченіемъ на ряду съ другими. Я думаю, что тотъ годъ, который мы оба провели въ Петербургѣ среди описанныхъ выше передрѣягъ, былъ наименѣе плодотивымъ годомъ въ дѣлѣ его научныхъ занятій. Я даже не могу припомнить, чѣмъ онъ собственно тогда занимался.

Судьба позаботилась о томъ, чтобы дать ему, какъ и мнѣ, какъ и нѣкоторымъ другимъ, выходъ изъ положенія, которое вовсе не было благопріятно для ученыхъ занятій. Въ одинъ прекрасный день насъ вмѣстѣ позвали къ тогдашнему министру народнаго просвѣщенія А. В. Головинину, который предложилъ намъ отправиться за границу на два года, для приготовленія къ профессорскому званію. Мы, разумѣется, согласились на это предложеніе съ радостью и отправились въ Берлинъ какъ разъ въ то время, когда жизнь въ Петер-

бургъ послѣ ужасныхъ пожаровъ казалась отвратительною. Вскорѣ послѣ насъ по той же дорогѣ отправились какъ нѣкоторые изъ нашихъ ближайшихъ товарищей, командированные, подобно намъ, для приготовленія къ кафедрѣ, такъ и цѣлый рядъ другихъ молодыхъ людей, питомцевъ разныхъ университетовъ,—все будущіе профессора и ученые по разнымъ специальностямъ.

### 3. Въ заграничной командировкѣ.

Два года проведенные нами за-границей съ опредѣленною цѣлю, съ цѣлю ближайшаго ознакомленія каждого съ своей специальностью, съ ея разработкою, съ ея преподаваніемъ, были, безъ сомнѣнія, очень важнымъ временемъ въ нашей жизни. При первомъ столкновеніи съ чужими университетами, съ чужими профессорами, мы, по крайней мѣрѣ филологи и историки, увидѣли, какъ далеко стоитъ преподаваемая въ Россіи наука отъ того уровня, на какой она поставлена въ тѣхъ научныхъ центрахъ, куда мы направились. Мы увидѣли, что для изученія той или другой науки существуютъ важные матеріалы, о которыхъ никогда мы въ своихъ университетахъ и не слыхали; мы увидѣли, что между нашимъ университетскимъ преподаваніемъ, которое еще въ предшествовавшую намъ эпоху, по требованію внутренней политики, было низведено на степень школьнаго, которое было обязано держаться извѣстнаго руководства, и научнымъ преподаваніемъ германскихъ университетовъ, существуетъ неизмѣримая разница. Уже одно это сознаніе того, какъ наше преподаваніе отстало отъ научныхъ требованій, сознаніе этой громадной разницы, и притомъ пріобрѣтенное не теоретическимъ путемъ, а самымъ нагляднымъ образомъ язъ непосредственнаго сравненія того и другого преподаванія, было въ высшей степени благотвѣльно, и конечно ему наши университеты обязаны всего болѣе тѣмъ, что уровень преподаванія въ нихъ мало по малу значительно повысился.

Лѣтній академическій семестръ, когда мы пріѣхали въ Берлинъ, былъ уже въ полномъ разгарѣ, записываться на лекціи было уже поздно, но мы стали все-таки посѣщать университетъ, чтобы прісмотреться къ профессорамъ и къ ихъ преподаванію и вмѣстѣ съ тѣмъ привыкнуть къ пониманію живой нѣмецкой рѣчи, въ которой мы были, особенно я, очень слабы. Я, кромѣ того, еще занялся ознакомленіемъ съ музеями, Старымъ и Новымъ. На зимній же семестръ мы рѣшили устроиться такимъ образомъ: я ѣду въ Боннъ, а Васильевъ-

ский остается в Берлинѣ. Ему хотѣлось послушать Моммзена, который в лѣтній семестръ не читалъ, такъ какъ находился в отсутствіи, кажется, в Парижѣ, и записаться в семинарію Дройзена. Миѣ же казалось наиболѣе цѣлесообразнымъ отправиться в Боннъ, гдѣ тогда классическая филологія, в лицѣ Ричля и О. Яна, казалась наиболѣе процвѣтающею в Германіи. Къ тому же, я чувствовалъ, что в Берлинѣ, который служилъ главной станціей для русскихъ, пріѣзжающихъ изъ Петербурга, предаваться занятіямъ было не очень удобно в виду того, что в то время туда постоянно пріѣзжали новые молодые люди не только изъ командированныхъ министерствомъ, но и изъ тѣхъ, кто, по случаю закрытія петербургскаго университета, находилъ возможнымъ продолжать свое образованіе за границей. Частыя встрѣчи, разговоры, разносившіяся новости, слухи изъ Петербурга—все это мѣшало сосредоточенію, отнимало время. Удаленіе в университетъ на Рейнѣ дѣлало меня господиномъ своего времени, и я могъ тамъ заниматься, сколько хотѣлъ и сколько могъ.

Такимъ образомъ, мы разстались, и это дало поводъ къ новой перепискѣ между нами, которая, такъ какъ мы почти все время жили в разныхъ мѣстахъ, и продолжалась вплоть до нашего возвращенія в Петербургъ, куда я прибылъ весной, а Васильевскій осенью 1864 г.

Первыя письма в Боннъ были наполнены по преимуществу политическими новостями изъ Россіи, о разныхъ русскихъ и польскихъ прокламаціяхъ, выходившихъ внутри Имперіи и за границей, за чѣмъ в Берлинѣ было слѣдить, кто хотѣлъ того, весьма удобно. Оказалось, что и за границей намъ полнаго покоя отъ разныхъ, болѣе или менѣе разстраивающихъ внутреннее равновѣсіе, впечатлѣній не будетъ. Наконецъ, в письмѣ отъ 29-го октября (нов. стила) 1862 Васильевскій сообщаетъ, что записался на университетскія лекціи. „Буду только слушать, писать онъ,—Дройзена, Моммзена и Гнейста. Заплатилъ два золотыхъ Дройзену и одинъ Моммзену. Лекціи Моммзена, судя по началу, будутъ весьма интересны. Читаю Льюиса „О достовѣрности источниковъ Римской исторіи“ и Шwegлера. Покупилъ классиковъ, съ которыми очень много возжусь: т.-е. когда собираюсь читать Льюиса, выкладываю всѣхъ ихъ, на—какъ это называется?—ну на ту выдвигающуюся доску, на которой ты всегда писалъ, потомъ снова перетаскиваю в шкафъ и привожу в систему“. Итакъ ясно, что Василій Григорьевичъ рѣшилъ прежде всего заниматься Римской исторіей, но только, при помощи Моммзена, Шwegлера и Льюиса, но и римскихъ, а также и греческихъ авторовъ, служившихъ в то время единственнымъ

источниками для знакомства съ древнѣйшей римской исторіей, критикой источниковъ которой занимаются Швеглеръ и Льюисъ. И мнѣ хорошо извѣстно, какъ въ этой области науки о древности, которая одинаково и меня интересовала съ юныхъ лѣтъ, онъ далеко проникъ въ глубь, прекрасно ознакомившись, между прочимъ, съ Ливіемъ и Діонисіемъ Галикарнаскимъ. Избраніе для слушанія также лекцій Дройзена мнѣ указывало на то, что онъ не желалъ забрасывать и греческой исторіи, которою до этого занимался по преимуществу, читая Геродота, Фукидида и Полибия. Но въ письмѣ отъ 6-го ноября онъ мнѣ сообщаетъ, что не ждетъ для себя большой пользы отъ Дройзена, такъ какъ въ его взглядахъ на революцію, значеніе и методъ исторіи особенно не пуждается, хотя и прибавляетъ, что Дройзень „читаетъ хорошо“. Значитъ, Дройзень читалъ не греческую исторію; для упражненія же въ исторической критикѣ онъ избралъ 30-лѣтнюю войну, которая, замѣчаетъ Василій Григорьевичъ, его „теперь не интересуетъ“, и такъ какъ, вдобавокъ, эти упражненія у него происходили „слишкомъ рано поутру“, то Василій Григорьевичъ отъ нихъ отказался. Наконецъ, лекціи Гнейста должны были ввести его въ ближайшее знакомство съ политической экономіей, которую онъ въ педагогическомъ институтѣ слушалъ у Вернадскаго, а въ университетѣ у Горлова, оставшагося, сколько помню, не довольнымъ его отвѣтомъ на экзаменѣ. Занятіе политической экономіей тогда только-что начинало у насъ входить въ моду. Но для историка, какою бы эпохою онъ ни занимался, оно было до извѣстной степени необходимо, какъ теперь начинаютъ считать для него необходимымъ изученіе права.

Римская исторія продолжала оставаться главнымъ предметомъ занятій Василія Григорьевича во все время его заграничной командировки. Отъ начальныхъ ея періодовъ онъ перешелъ во второй годъ къ Римской имперіи, куда его увлекли съ одной стороны два новыхъ блестящихъ сочиненія—одно, принадлежащее Амедю Тьерри, другое—Меривалю, съ другой стороны лекціи Моммзена, которыя его приводили въ восторгъ. Вотъ что онъ между прочимъ пишетъ (отъ 13-го января 1863 г.) о преподаваніи послѣдняго (надѣюсь, что за длинную выписку на меня читатель не посѣтуетъ):

„...Вотъ и Моммазъ при разборѣ одной рѣчи Цицерона „pro Scaepa“ объясняетъ намъ вдругъ, что тутъ есть одинъ пунктъ, неразрѣшимый для него. Онъ повѣдалъ намъ исторію своихъ ученыхъ сомнѣній, мученій, колебаній, высказалъ всю тяжесть и горечь положенія, когда мучить это сомнѣніе и нѣтъ силъ рѣшить ихъ. Все ясно, все

хорошо: но дѣло въ томъ — самое-то главное: — какъ нужно читать Саесіпа или Саесіпа? Перебралъ все: этрусскія имена, надписи, — рѣшенія нѣтъ. Спрошу, говорить, еще у филологовъ-специалистовъ. Сходилъ, вѣроятно, къ Гаупту и на слѣдующей лекціи объявилъ, что вопросъ остается не рѣшеннымъ и ждать дѣятелей. Будемъ, сказалъ онъ со вздохомъ, читать по прежнему. Меня эта черта, неожиданная въ Моммзенѣ — сейчасъ скажу почему — привела въ какое-то особенное умиленіе. Тутъ есть, это я чувствую, что-то особенное, умиленное, наивное, святое. Именно — святое.

„Ну, а что это за человекъ, и что за ученый Моммзенъ — что объ этомъ и говорить! Воззваніе къ пожертвованіямъ въ національный фондъ подписывается, надъ нѣмецкими учеными подсмѣивается, что они вотъ именно тѣмъ-то и занимаются особенно, т.-е. тѣми-то вопросами въ Римской исторіи, которые не имѣютъ особеннаго интереса, все ищутъ матери Гекубы (у которой, какъ извѣстно, нѣтъ матери). Я очень жалю, что ты не имѣешь удовольствія прослушать хоть одну его лекцію. Если бы ты только посмотрѣлъ, какъ этотъ тоненькій невзрачный (*человѣкъ*) ходитъ какъ-то бокомъ, придетъ, станетъ на кафедрѣ и прямо вопьется въ какой-нибудь вопросъ — о трибахъ тамъ, что-ли! — именно вопьется, и головой трясетъ, какъ хищный звѣрь, поймавъ и разрывая добычу. Потомъ, добрался, значить, до сущности, начинаетъ показывать на ладони, ударяя пальцами другой руки: вотъ, вотъ, вотъ! Ну, а какъ онъ знаетъ свое дѣло — смотри, слушай и удивляйся. И какого дьявола онъ не читалъ, не издавалъ, не писалъ: и хронологія-то, и монеты-то, и *gromatici*, и тамъ какія-то *potarum laterculae*. И въ то же время живой, живой человекъ. Я отъ него просто безъ ума. Такого соединенія громадной специальной учености и живого пониманія, представленія дѣла я, конечно, не встрѣчалъ, да едва-ли и встрѣчу“.

Но въ томъ же письмѣ онъ жалуется на то, что среди берлинской сутолоки его занятія идутъ неудовлетворяющимъ его образомъ.

„Я хотѣлъ было поговорить о своихъ занятіяхъ: идутъ что-то плохо, дѣлается очень мало. Чортъ знаетъ что: любви что-ли такой нѣтъ къ наукѣ? или энергіи и силы воли? Все еще кромѣ того разныя броженія: и міръ со всѣми прелестями и прелестницами смущаетъ, и политикой тамъ увлекаешься, и поболтать въ компаніи любишь, и голова отъ разныхъ причинъ болитъ, и просто нерасположеніе, и по гречески — латински плохо знаешь. Политика: по теоріи Миротворцева, можно интересоваться политическими событіями только тогда,

когда они войдутъ въ исторію; тогда это бы прямо падало въ Fach; а то развѣ это наука? Между тѣмъ времени-то все-таки утромъ за двумя газетами, да и вечеромъ—чуть не каждый день у Спариньяни (это была посѣщаемая иностранцами кофейня со множествомъ газетъ)—уходить довольно. Поболтать: здѣсь есть весьма разнообразныя господа: казанцы, московцы, кievцы, харьковцы“...

Какъ всякій истинный ученый, Василій Григорьевичъ былъ къ себѣ въ научномъ дѣлѣ очень требователенъ; но такъ какъ требовательность эта не всегда совпадала съ достигаемыми успѣхами, то, по временамъ, на него находила большая тоска и даже разочарованіе въ своихъ силахъ. Особенно обращать на себя въ этомъ отношеніи слѣдующее письмо изъ Берлина (отъ 11-го февраля 1863 г.), которое меня даже до нѣкоторой степени встревожило:

„У тебя скука; у меня не просто скука, какая-то особеннаго рода апатія, иногда тоска и страшное недовольство собой. Вечеромъ вдругъ нападаетъ на меня такое чувство, что я хотѣлъ бы бросить себя на полъ и растоптать ногами. Миѣ кажется иногда, что я совершенно безнадежный человѣкъ: тѣсто, гниль, мякина. Ну, положимъ для дѣятельной, практической жизни я не созданъ—такъ наука. Особенной любви къ наукѣ я въ себѣ—вѣдь это страшно сказать—не нахожу, не чувствую. Привыкъ немного къ книгамъ, книжкамъ, и потому—по этой совершенно равнодушной привычкѣ—берешься за то, что попадаетъ подъ руку. И это до смѣшного. Вчера пришелъ вечеромъ домой и хотѣлъ кончить письмо къ тебѣ (это—другое): попался подъ руку Титъ Ливій. Я сталъ читать его, но потому, чтобъ миѣ этого хотѣлось, а просто вслѣдствіе того, что дѣлать было писать тебѣ. А читать Тита Ливія очень легко: вѣдь онъ писалъ по латыни; слѣдовательно нужно было только немного и совершенно механически переключивать у себя въ головѣ съ латинскаго на русскій. И я такъ просидѣлъ долго, и миѣ было хорошо, т.-е. я ничего не думалъ, не чувствовалъ, головой не работалъ. Я боялся перестать, потому что сейчасъ же тогда овладѣваетъ это тягостное, подавляющее, унижающее чувство—чего?—бессилія, презрѣнія къ себѣ. И это чувство до того сильно, что, дѣйствительно, буквально я чувствую какое-то особеннаго рода стремленіе, позывъ упасть на полъ лицомъ, грудью, унижить себя и физически; съ другой стороны, я знаю, что это чувство также гнило; никакого энергическаго рѣшенія, никакого усилія выдти на свѣжій воздухъ, на живое дѣло или по крайней мѣрѣ на живое, энергическое мышленіе оно не вызоветъ. Живешь за границей—за-

интересовало ли меня что-нибудь здѣсь, понималъ ли я живымъ образомъ что-нибудь въ живой жизни? Право, до сихъ поръ я не больше и не меньше знаю нѣмцевъ, какъ и прежде. Въ наукѣ—пу положимъ, я занимаюсь Римскою исторіей—знаешь, я не вѣрю въ свою способность, въ свою силу дойти до живого, самостоятельнаго пониманія. Накопить груды ветоши и всякаго старья въ своей головѣ, не имѣя даже удовольствія самому отыскать ее—пожалуй, я въ состояннн сдѣлать это при такой работѣ, какъ вчерашняя надъ Титомъ Ливіемъ. Есть въ головѣ потому какія-то привычныя категоріи, механической навывъ, и при помощи ихъ разное тряпье это можетъ пожалуй принимать нѣкоторую какъ будто и форму; и въ случаѣ нужды, смотря по обстоятельствамъ и вызову, или и просто про себя, когда представляешь себя ученимъ, схоластомъ, будешь долженъ легко кроить и перекраивать его въ ходячія идеи, прикрашивать и перекрашивать въ разноцвѣтныя формы и фигуры. Жизни, силы, сердца, убѣжденія—видно этого нѣтъ въ моей натурѣ, видно—этого я не могу внести въ свои занятія наукой, въ свое знаніе—не очень обширное, разумѣется. У меня, мнѣ кажется, есть только мозгъ,—этого-то еще есть все-таки немножко,—который способенъ пассивно воспринимать что угодно, что пожалуй, и не всякій мозгъ воспринимаетъ; который потомъ способенъ нѣсколько раздражаться, оказывать даже тогда нѣкоторую реакцію, заставить меня говорить, повидимому, не совсѣмъ глупыя вещи. Послѣ, когда я одинъ, мнѣ теперь кажется, все это было только такъ, случайно, раздраженіе мозга. Я думаю, что у меня нѣтъ никакихъ убѣжденій, да! Скажи, Модестовъ, за кого ты меня считаешь? А вѣдь у меня убѣжденій-то въ самомъ дѣлѣ нѣтъ.—Кто бы нашелся, кто бы могъ вспрыснуть меня живой водицей, послѣ которой въ русскихъ сказкахъ оживаютъ? Гдѣ та купель Силоамская, изъ которой мертворожденные, какъ я, выходятъ свѣжими, бодрыми, сильными, смѣлыми?—Или уже, наконецъ, примириться съ собой, какъ есть? Сказать себѣ: „все, чѣмъ ты можешь быть, это—то и то. Чего нѣтъ, того на себя не натягивай. Живи себѣ мирно и почитывай разныя книжицы“. Что ты на это скажешь?“.

Что я сказалъ на это, не помню, но вѣроятно старался возбудить въ немъ бодрость и пригласилъ къ себѣ въ Боннъ. Это видно изъ его письма отъ 17-го февраля (1863 г.), гдѣ онъ, говоря, что ему Берлинъ „страшно надоѣлъ“, общается пріѣхать въ Боннъ, прибавляя, что ему „очень хочется поговорить“ со мной и посмотреть, какъ я „свою силу и энергію упрятаю въ нѣмецкій да еще прирейнскій



городохъ, за латинскую эпиграфику“. Въ Боннѣ онъ, однако, тогда не пріѣхалъ, а остался въ Берлинѣ, но уже съ измѣнившимся душевнымъ настроеніемъ. Письмо его отъ 23-го февраля, которое начинается сообщеніемъ, что ему помѣшало отправиться въ Боннѣ безденежье, какъ и полученное имъ отъ одного изъ товарищей извѣстіе, будто я самъ думаю пріѣхать въ Берлинъ, дышетъ большой энергіей, съ какой онъ высказываетъ разныя соображенія по поводу вспыхнувшего въ Польшѣ возстанія. Онъ выражаетъ все-таки надежду двинуться въ Боннѣ въ началѣ марта и прибавляетъ: „Да, нужно будетъ хорошенько присѣсть за книги. Зимой я такъ мало, мало сдѣлалъ“. Эту надежду и желаніе пріѣхать въ Боннѣ онъ выражаетъ и въ письмѣ отъ 13-го марта, хотя тутъ же заявляетъ, что на слѣдующій семестръ тамъ оставаться не думаетъ. Дѣло въ томъ, что Моммзенъ предполагалъ на лѣтній семестръ читать исторію Римской Имперіи. Поэтому онъ ставитъ вопросъ: не лучше ли мнѣ самому промѣнять Боннѣ на Берлинъ, или, какъ онъ выражается, „Ричля на Моммзена?“ Кончилось тѣмъ, что въ половинѣ лѣтняго семестра я пріѣхалъ въ Берлинъ; но мнѣ не долго пришлось прожить тамъ вмѣстѣ съ Василіемъ Григорьевичемъ, такъ какъ докторъ послалъ его въ Ахенъ на воды. Тогда ему пришлось дѣйствительно посѣтить Боннѣ, но только проѣздомъ, на нѣсколько дней, и уже въ мое отсутствіе.

Въ письмахъ изъ Ахена, серія которыхъ начинается письмомъ отъ 29-го іюля (1863 г.), какъ это понятно, очень мало говорится о научныхъ занятіяхъ. Болѣзнь, лѣчение, дѣйствіе водъ, описаніе мѣста и образъ жизни, наконецъ наши общія и его частныя денежныя дѣла—таковы господствующія, если не единственныя темы этихъ писемъ. Впрочемъ Василій Григорьевичъ не думаетъ и тамъ сидѣть безъ дѣла. Въ письмѣ отъ 10-го августа онъ проситъ меня получить у книгопродавца Митчера слѣдующее ему окончаніе исторіи римской литературы Бернгарди и двѣ недополученныя книжки *Rheinisches Museum*. Журналъ этотъ почти исключительно филологическій. Если Василій Григорьевичъ считалъ нужнымъ получать его, то это показываетъ, какъ онъ старался близко стоять въ то время къ научному движенію въ области классической древности. Онъ проситъ къ посылкѣ этихъ книгъ приложить Светонія и то новое сочиненіе о Полювіѣ, которое должно было уже появиться. Не помню, о какомъ именно сочиненіи идетъ здѣсь рѣчь.

11-го сентября онъ мнѣ пишетъ изъ Ахена въ Римъ, сообщая, что онъ на другой день уѣзжаетъ черезъ Гейдельбергъ, гдѣ думаетъ

остановиться на короткое время, въ Женеву, гдѣ располагаетъ прожить мѣсяцъ, чтобы тѣмъ временемъ приготовиться для поѣздки во Францію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ Женевѣ у него создавался планъ о поѣздкѣ въ Римъ, хотя отъ 15-го октября (1863) онъ уже пишетъ, что у него нѣтъ денегъ ни для поѣздки въ Парижъ, ни для путешествія въ Италію, и онъ выражаетъ опасеніе, что вмѣсто того и другого путешествія ему придется просто отправиться въ Лейпцигъ, несмотря на то, что Германія ему „надоѣла“.

Но Василій Григорьевичъ переѣхалъ изъ Женевы не въ Лейпцигъ, а въ Лены. Не знаю, чѣмъ именно мотивировалось его переселеніе въ этотъ городъ, ubi acetum crescit, какъ выражался Лютеръ, говоря о тамошнемъ кисломъ виноградѣ. Состоялась же эта перемѣна жительства уже весной 1864 года, когда я уже пробирался изъ Италіи въ Петербургъ и остановился въ Берлинѣ. Переписка наша въ зиму 1863—1864 гг., когда Васильевскій жилъ въ Женевѣ, а я въ Римѣ, была очень не дѣятельна. Поэтому я только въ письмѣ изъ Лены (отъ 7-го апрѣля 1864) читаю, какъ женевскіе эмигранты старались завербовать его въ свой лагерь, и какъ онъ имъ отвѣчалъ, указывая на тщету ихъ усилій. Въ видѣ иллюстраціи этого обстоятельства онъ выписываетъ для меня текстъ письма, которое онъ въ одно время съ письмомъ ко мнѣ посылалъ не остававшему отъ него представителю партіи дѣйствія. Въ письмѣ этомъ онъ говоритъ о своей любви къ наукѣ, о „высокомъ представленіи“ относительно того, „что она должна и можетъ сдѣлать у насъ въ Россіи“, и о сомнительной годности его на дѣло, чуждое его призванію. Послѣ этого эмигранты уже больше его не беспокоили. Въ томъ же письмѣ, по поводу этихъ назойливыхъ зазываній въ совѣтъ не сродную ему среду, онъ высказываетъ свои дѣйствительныя пожеланія: „годковъ десять посидѣть за Римскою исторіей и одарить потомъ эту же революціонную партію хорошей книжицей“. И затѣмъ даетъ себѣ или мнѣ такой вопросъ: „Что если я дойду до своей мечты быть хорошимъ и полезнымъ профессоромъ?“

Мечта моего друга исполнилась. Онъ дѣйствительно сдѣлался и былъ хорошимъ и полезнымъ профессоромъ, и даже болѣе того: онъ сдѣлался очень виднымъ ученымъ, хотя „книжицы“ по римской исторіи и не написалъ. Его отвлекла другая область науки, но въ этой другой области онъ не достигъ бы того сильнаго положенія, какое выпало ему на долю, еслибъ не приступилъ къ ней во всеоружіи превосходной подготовки именно по римской исторіи, изучая которую онъ научился приемамъ надлежащей научной работы. Но до осуществле-

нія лѣтѣнной имѣ „мечты“ прошло не мало времени, и ему пришлось испытать также не мало и трудностей.

Его письма изъ Іены дышутъ спокойствіемъ и уравновѣшенностью. Ему, видимо, жилось тамъ хорошо среди занятій любимымъ дѣломъ, и онъ вовсе не торопился въ Петербургъ, а рѣшился воспользоваться продолженіемъ командировки, которое дало всѣмъ намъ министерство. Я же, напротивъ, спѣшилъ скорѣе возвратиться домой, чтобы это дополнительное время командировки провести въ Петербургѣ въ видахъ написанія, пока еще намъ давались средства, магистерской диссертациі (матеріалы для нея у меня подготовлялись уже давно) и напечатанія ея. Провожая меня письменно изъ Іены въ Петербургъ, Василій Григорьевичъ въ письмѣ отъ 18-го апрѣля (1864 г.) пишетъ: „Ранѣе сентября ты, думаю, не напечатаетъ своей диссертациі. А то бы нужно просить тебя прислать мнѣ экземпляръ немедленно. Какая великолѣпная тема у тебя! Чѣмъ я больше знакоюсь съ Тацитомъ, тѣмъ больше завидую тебѣ. Мой Поливій, который—замѣтитъ мимоходомъ—идетъ очень плохо, хотъ и умный человѣкъ, но чтѣ въ сравненіи съ Тацитомъ!“

Спокойная жизнь въ Іенѣ пришла совершенно по душѣ Василю Григорьевичу, и онъ продолжалъ тамъ прилежно работать; но и заботы о будущемъ начинаютъ у него замѣтно проявляться на этой послѣдней станціи его заграничнаго пребыванія. Въ этомъ отношеніи представляется очень интереснымъ его письмо отъ 30-го мая, которымъ онъ отвѣчалъ на первое мое письмо изъ Петербурга. Оно какъ нельзя лучше характеризуетъ тогдашнія, очень скромныя и столь симпатичныя, стремленія Василя Григорьевича. Привожу его за исключеніемъ конца, *in extenso*.

„Если я замедлялъ нѣсколько писать тебѣ въ отвѣтъ, такъ это главнымъ образомъ потому, что писать-то, кажется, не о чемъ. Ты самъ хорошо знаешь всѣ возможные образы заграничной жизни, и тебѣ нужно только вспомнить свое боннское время, чтобы положительно знать, какъ проходитъ мое время, какъ я занимаюсь, какъ я болтаюсь и пр. Зачѣмъ же я тогда не возвращаюсь въ Россію — при первой возможности? Признаюсь, меня не очень туда тянетъ. Извѣстія, сообщенныя тобой, тоже не такого рода, чтобы возбудить нетерпѣливое желаніе скорѣе увидѣть любезное отечество. Потомъ — извѣстное дѣло — въ самомъ Питерѣ жить лѣтніе мѣсяцы не только тяжело, — убійственно. Итакъ ранѣе сентября я не думаю видѣть Петербурга. Чтѣ будетъ по приѣздѣ, я рѣшительно и представить себѣ не могу.

Мои мечты и желанія не связываются въ настоящее время съ Питеромъ; мнѣ бы очень хотѣлось попасть въ какой-нибудь провинціальный университетъ, гдѣ бы я былъ притомъ не одинъ. Но дѣло-то не въ томъ—не въ моихъ мечтахъ и желаніяхъ,—а какой опредѣленный планъ имѣю я на первое время? Я думаю просить министра или кого тамъ слѣдуетъ вотъ о чемъ: пусть они оставятъ меня на годъ при питерскомъ университетѣ, заставляютъ или, лучше, позволятъ читать что-нибудь, дадутъ за это помногу денегъ и, слѣдующимъ, вромѣ и возможность сдать экзамены, диссертацию написать и защитить, испытать себя, показать и другимъ, имѣю ли (я) способность быть профессоромъ. Черезъ годъ открывается университетъ въ Одессѣ; тогда, если я окажусь способнымъ, могутъ отправить меня туда. Исторія выходитъ довольно длинная... Въ случаѣ нужды можно вѣроятно повернуть дѣло и скорѣй... Нужно только при этомъ замѣтить, что моя диссертация еще менѣе готова, чѣмъ твоя. Я даже начинаю думать, не оставятъ-ли пока мысль о ней, и готовиться просто къ одному экзамену, а на случай нужды не запастись ли какимъ-нибудь маленькимъ сюжетцемъ, который можно бы обработать недѣли въ три. Они вѣдь есть—такіе сюжеты.

„Послѣдняя надежда сдѣлать что-нибудь дѣльное въ своей жизни—пристроиться гдѣ-нибудь въ тиши, привязаться, сердцемъ къ своей дѣятельности, имѣть на каждый день близкую задачу (лекцію) и пр. и пр.“

#### 4. По возвращеніи въ Россію.

Да, по этой мечтѣ, какъ она ни скромна, довелось осуществиться не такъ легко и не такъ скоро. Зимѣ 1864—1865 гг. ему пришлось много возиться съ М. С. Куторгой, очень причудливымъ профессоромъ, который, получивъ отъ министерства право взять на время себѣ на руководство Васильевского и Люперсольскаго, много капризничалъ, не позволилъ Василю Григорьевичу писать диссертацию о Поливѣ, находя эту тему слишкомъ широкою (!), навязывалъ какую-то другую, предлагалъ написать статью о значеніи его, Куторги, трудовъ и, въ концѣ концовъ, едва согласился на то, чтобъ онъ написалъ диссертацию объ Ахейскомъ союзѣ. Весной 1865-го года, я отправился доцентомъ по кафедрѣ Римской словесности въ Новороссійскій университетъ, въ Одессу, а Васильевскій остался въ Петербургѣ, чтобъ печатать свою диссертацию. Печататься она должна была въ

типографіи его стараго знакомаго, Бакста. Но такъ какъ денегъ для уплаты типографскихъ расходовъ у него не было, то Бакстъ вовсе не торопился печатаніемъ. Письмо (отъ 1-го іюля 1865), которымъ онъ извѣщаетъ меня о ходѣ своихъ дѣлъ, написано въ очень minorномъ тонѣ и обнаруживаетъ угнетенное состояніе духа. Еще болѣе это состояніе обнаруживается изъ письма отъ 13-го сентября (1865), изъ котораго видно также, что диссертация его только что начала печататься. Между тѣмъ матеріальное положеніе его въ это время было ужасно. „Денги, — пишетъ онъ, — выданныя изъ министерства (на диссертацию?), не имѣли, конечно, особенной способности быть неизсякаемымъ резервуаромъ. Въ началѣ августа я уже былъ безъ копѣйки. Приходилось бѣгать какъ голодная собака. Какъ я прожилъ до сихъ поръ, я самъ не знаю. Если еще обѣдалъ каждый, почти каждый день, то благодаря тому, что обѣдалъ дома. Между тѣмъ моя хозяйка, вслѣдствіе совершеннаго неимѣнія другихъ жильцовъ, была тоже совершенно безъ денегъ. Нѣсколько разъ приходилось проклинать свою диссертацию. На прошлой недѣлѣ, наконецъ, я обратился къ знакомымъ, прѣхавшимъ въ Петербургъ, съ просьбой, чтобы они нашли мнѣ уроки. Теперь я нѣсколько обезпечилъ свое существованіе этимъ путемъ. Но и тутъ неопредѣленность положенія постоянно служить досаднымъ препятствіемъ, настоящаго хорошаго мѣста (например, въ Смольномъ институтѣ) взять нельзя: этому мѣшаетъ диссертация и все-таки непокидаемая надежда попасть въ Одессу“.

Итакъ, Васильевскій мечталъ о занятіи каведры въ Одессѣ, хотя бы въ званіи доцента или даже просто преподавателя. Но въ ту пору и это званіе было для него недостижимо. Онъ начинаетъ уже думать о томъ, чтобы хотя бы только очистить совѣсть человѣка, командированнаго для приготовленія къ профессорскому званію, сдачей магистерскаго экзамена и обнародованіемъ своей диссертации. „Совѣсть моя, — пишетъ онъ, теперь будетъ совершенно спокойна, если даже мнѣ и не дадутъ, не захотятъ дать степени“. Въ предыдущемъ письмѣ онъ не допускалъ этой возможности, замѣчая, что „не пропустить (диссертацию) будетъ нельзя“, такъ какъ онъ ясно сознавалъ ее научное достоинство. Онъ обвиняетъ министерство въ томъ, что оно бросило возвратившихся изъ-за границы молодыхъ ученыхъ на произволь судьбы и тѣмъ заставило многихъ изъ нихъ оставить мысль о диссертацияхъ и махнуть рукой на профессорскую карьеру. Винить и историко-филологическій факультетъ петербургскаго университета, который, съ своей стороны, тоже дѣлалъ все, чтобы помѣшать этимъ

ученымъ въ достиженіи цѣли, для которой они работали два года за границей. Обращаясь къ своему положенію, онъ говоритъ: „Я предвижу, что со стороны Куторги еще будутъ большія придирки къ моей диссертаци“.

Такимъ образомъ, тутъ соединились всевозможныя затрудненія къ тому, чтобы не дать человѣку стать на ноги: и крайняя матеріальная необеспеченность, и медленное печатаніе диссертаци, главной опоры въ надеждахъ на будущее, и мелочное противодѣйствіе со стороны факультета или по крайней мѣрѣ лица, отъ котораго главнымъ образомъ зависѣла судьба его диссертаци. Было отъ чего придти въ отчаяніе.

Въ концѣ концовъ, угнетаемый обстоятельствами, которыя для него становились тѣмъ тяжелѣе, что онъ въ это время сдѣлался уже семейнымъ человѣкомъ, Васильевскій рѣшился бросить Петербургъ и отправился учителемъ гимназій въ Вильну. Тамъ уже устроились трое изъ нашихъ институтскихъ и университетскихъ товарищей, изъ которыхъ двое вмѣстѣ съ нами готовились къ занятію профессорскихъ кафедръ за границей. Его магистерская диссертаци, совершенно готовая и отданная имъ Баксту для напечатанія еще въ 1865 г., появилась въ свѣтъ лишь въ 1869 г., но уже не изъ типографіи Бакста, а въ видѣ отдѣльнаго оттиска статей, которыя печатались въ *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія* въ 1868—1869 гг. Заглавіе ея было уже не „объ Ахейскомъ союзѣ“, на чемъ, повидимому, остановилось у автора соглашеніе съ Куторгой, а болѣе общее и длинное: „Политическія реформы и соціальное движеніе въ древней Греціи въ періодъ ея упадка“. Это былъ, безспорно, одинъ изъ наиболѣе крупныхъ по значенію трудовъ, какіе до тѣхъ поръ появлялись у насъ въ области науки о классической древности. Въ 1870 г. она была защищена публично въ С.-Петербургскомъ университетѣ, и тогда только авторъ ея, крупнѣйшая сила изъ среды всѣхъ, посланныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія въ 1862—1863 гг. для усовершенствованія за границу, молодыхъ ученыхъ, получалъ возможность стать на свою настоящую дорогу, какъ штатный преподаватель съ университетской кафедрой. Съ 1870 года и началась профессорская дѣятельность Василья Григорьевича въ С.-Петербургскомъ университетѣ.

Моя задача кончается на этомъ пунктѣ. Она состояла въ томъ, чтобы на основаніи моихъ личныхъ воспоминаній и сохранившейся у меня массы писемъ Василья Григорьевича, освѣтить нѣсколько тотъ

періодъ его жизни, который наименѣе извѣстенъ или даже и вовсе неизвѣстенъ другимъ, а между тѣмъ имѣетъ несомнѣнную важность, какъ періодъ сформирования одного изъ наиболѣе крупныхъ русскихъ ученыхъ въ области историко-филологическихъ наукъ, и въ то же время, какъ періодъ мытарствъ, какія у насъ обыкновенно бываетъ нужно наиболѣе достойнымъ людямъ пережить для достиженія хотя бы первой степени принадлежащаго имъ по праву положенія.

#### В. Медстевъ.